

АНТОН РАЙН

ЗАДАНИЕ
УБИТЬ
ГИТЛЕРА

18+

АНТОН Райн

Задание - убить Гитлера

«Автор»

2026

Райн А.

Задание - убить Гитлера / А. Райн — «Автор», 2026

Списанный агент с расстрельным приговором получает сделку: жизнь — в обмен на одно убийство. Цель находится в прошлом. Дедлайн — 30 января 1933 года. Но наниматели не дают ни плана, ни оружия. Только белые конверты с заданиями, одно страннее другого: купить хлеб. Купить велосипед. Познакомиться. Вступить. Понравиться. Каждый листок — ход в чужой партии, и с каждым ходом он всё ближе к человеку, которого должен убрать, — и всё дальше от понимания, кто и зачем двигает фигуры. А потом выясняется: он не единственный, кому приходят конверты. И прощение, обещанное в конце, — возможно, просто строчка в чужом сценарии. Изменить историю — или узнать, что ты лишь один из её черновиков? Шпионский нуар о попаданце. 1932 год. Германия на пороге тьмы.

Содержание

Пролог. 29 января	5
Глава 1. 15 сентября. «Купить велосипед»	6
Глава 2. 28 сентября. «Познакомиться с Рихардом Венге»	10
Глава 3. 10 октября. «Внести посильную лепту»	14
Глава 4. 22 октября. «Вступить в контакт с членом НСДАП»	18
Глава 5. 7 ноября. «Быть на банкете у Штрайхера»	22
Глава 6. 21 ноября. «Провести неделю в Берлине»	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Задание - убить Гитлера

Пролог. 29 января

Мы — то, чем притворяемся, поэтому мы должны быть очень осторожны в том, кем притворяемся.

<i>Курт Воннегут</i>

Вечер, переходящий в ночь на тридцатое. В комнате жарко натоплено и пахнет кофе, корицей и чем-то приторно сладким. Наверное, пирожными. Он не терпит табачного дыма, поэтому курят в соседней зале, а здесь только десерты, напитки и разговоры вполголоса. Нас человек десять: ближний круг, усталые бойцы накануне триумфа. За дверью — двое в чёрном, но это для других. Меня они пропустили, кивнув и отдав честь. Меня здесь знают. Со мной здороваются за руку.

Он стоит в трёх шагах. Ест десерт — аккуратно, с той старомодной бережностью, с какой едят люди, помнящие голод. Смеётся чьей-то шутке, вытирает пальцы платком. Три шага. Даже не выстрел — движение кисти.

Он хмурится, потом улыбается снова.

Убить его издали мог бы любой. Студент с винтовкой, вдова с револьвером, безработный с гранатой — к тридцать третьему году его можно было снять в любой толпе, и не раз. Но толпа прощает промахи и рождает мучеников. Мои наниматели промахов не признавали. Им нужно было наверняка, в упор, без вариантов — а в упор пускают только своих. Сто пятьдесят дней я становился своим. Хлеб, велосипед, чужие фамилии, чужие привычки, чужая партия — всё ради права стоять в этой натопленной комнате с чашкой остывшего кофе в левой руке и со свободной правой.

Люгер весил под смокингом ровно столько, сколько весит принятое решение. И в том-то и дело, что моё решение не было принято.

Мне обещали прощение — бумагу с печатью и новую жизнь. Мне обещали, что я здесь первый с такой задачей, — и соврали. Один человек, умевший растворяться в воздухе, сказал мне, чем кончаются подобные вечера и принятые решения. Другая — просто просила возвращаться вовремя. У неё серо-синие глаза. Во внутреннем кармане, у самого сердца, лежал белый конверт — такой же, как все до него, но и не такой, как все: он был последний.

Завтра утром он поднимется по лестнице, пожмёт старческую руку Гинденбурга — и перестанет быть человеком. В тот миг он станет государством. Человека убить можно. А то, во что он завтра превратится, — нет. У меня оставалась ночь.

Он поставил тарелочку, обвёл нас глазами — задержался на мне, кивнул, так по-свойски. Я улыбнулся в ответ. Правая рука была свободна.

У этой истории два конца, и в тот вечер я ещё не знал, который из них мой.

Но начинается она не здесь. Не в этой комнате, не в этом городе и даже не в этом году.

Начинается она с буханки хлеба.

Глава 1. 15 сентября. «Купить велосипед»

Первые недели в Нюрнберге были похожи на дурной сон. Белые конверты в почтовом ящике, абсурдные, казалось бы, поручения. В начале было — «купить буханку хлеба». Я тогда выполнил, не глядя. Потом были «выпить кофе», «оставить газету»... Казалось глупостью или издёвкой. Но был особый смысл выполнять эти задания — не выполнить их я просто не имел права. Контракт я выбрал сам, а профессионал не нарушает обязательств.

Очередное задание лежало в почтовом ящике. Я протянул руку и вытащил чистый белый конверт. Абсолютно такой же, как и все другие до него. Ни имени, ни марки, ни штемпеля. Внутри прямоугольный листок с напечатанным текстом. Текст был именно такой, в кавычках: «Купить велосипед». Словно тот, кто сидел по ту сторону конверта, любил точность формулировок больше, чем людей.

Уже третью неделю я следил за подъездом, желая вычислить того, кто и как подкладывает конверты. Вставал до рассвета, менял точки, считал прохожих, запоминал окна и повторяющиеся лица. Ремесло не пропьёшь. Правда, добился я, как теперь выяснилось, лишь одного: следить стали за мной. Даже сейчас, стоя с конвертом в руках в тихом сумрачном подъезде, я ощущал невидимый взор, вонзающийся между лопаток. Будто кто-то смотрит из тёмного угла, отслеживает каждое движение и терпеливо ждёт, когда я совершу ошибку.

Кроме листка, в конверте лежали три купюры по двадцать рейхсмарок. Щедро. На велосипед хватит, ещё и на пиво останется. Организация — если это была она — исправно оплачивала собственные капризы. Но стоило им это вообще чего-то?

Достаточно было пальцам сложить хрусткие бумажки, как память, услужливая сволочь, щёлкнула тумблером и уволокла меня туда, где всё началось. В комнату без окон, к белому свету потолочных ламп.

* * *

Человек в сером костюме встал напротив.

— Вам предоставляется шанс искупить вину, поработав на нас. Вам даётся возможность жить — взамен смертного приговора. Разве одно это не стоит того?

— В чём подвох? — оживился я, сидя в наручниках за привинченным к полу столом. — Не будете же вы раскидывать такие возможности смертникам вроде меня. Что нужно делать и где?

Серый костюм ухмыльнулся. На его лысом черепе зашевелились блики от ламп. Он чуть наклонился ко мне.

— Сейчас я введу вас в курс дела. Но после этого обратной дороги у вас не будет.

— Как это «не будет»? А сейчас, выходит, есть? Вроде — не смогу отказаться? И что тогда? Опять приговорите к расстрелу? Так меня и без вас расстреляют, очередь только подойдёт.

— Согласен, звучит странно. Но всё же. После моего рассказа вам будет дан выбор. И всего один раз.

— Странные вы. Все вы. И место ваше это секретное странное. Ладно, одно ясно: терять мне нечего. Вещай.

Я откинулся на спинку стула и заглянул ему в глаза. Он тут же поймал мой взгляд и уже не отпуская, пока не сел напротив. Его серый безжизненный взор так и источал холодную, бесстрастную суть. Этот человек словно и не был человеком как таковым — нечто среднее между бездушным манекеном и киношным упырём.

* * *

Конверт лёг во внутренний карман пиджака, и я вышел на улицу, в серую промозглую хмарь начинающейся осени.

Казалось, вот-вот пойдёт дождь. Было не холодно, но небо низко нависло над головой, словно давило и словно умышленно угнетало. Я шёл вдоль домов, то и дело поскальзываясь на сырой брусчатке. Город ещё дремал в этот час, но кое-где уже поднимали ставни лавочники, а редкие клерки, то тут, то там, спешили на свои места, придерживая шляпы.

Его я заметил, лишь дойдя до конца улицы. Тёмный силуэт неотрывно следовал за мной, прячась за углами и в тени арок. Стоило глянуть в его сторону, как он словно растворялся, оставляя в воздухе дымчатый след. Человек в чёрном пальто с поднятым воротом и в широкополой шляпе. Это я смог различить. Очевидно, он совершенно не стеснялся своего стереотипного вида. Наконец-то объявился воочию, и впервые за многие дни я обрадовался.

Радоваться хвосту — глупее не придумаешь. Но хвост означает интерес, а интерес означает, что ты всё ещё фигура на доске, а не съеденная пешка на столе. К тому же я хорошо помнил свой день, когда мне назвали адрес этой доски. Чёрный человек скрылся в арке, а я опять провалился в ту комнату — как в прорубь.

* * *

— Германия. Нюрнберг, — сказал серый человек, продолжая впиваться в меня взглядом. — Заброска — август тысяча девятьсот тридцать второго года. Крайний срок исполнения — двадцать девятое января тридцать третьего.

Теперь я смутился.

— Как понять? Какой Нюрнберг? Тридцать второго — чего?

— Самый что ни на есть нацистский Нюрнберг, — внезапно широко улыбнулся он, совершенно обескураживая.

И если в начале нашей встречи я был полон скепсиса и смирения с судьбой, то теперь натурально заёрзал на стуле, понимая: это не шутка. Эти слова говорил очень странный человек в очень странном месте — и говорил очень серьёзно, если не считать этих механизированных улыбок.

Он поднялся и снова стал расхаживать вдоль стены.

— Можете не спрашивать, почему именно этот срок, город и страна. Мы всё равно не скажем. Скажу только, что получилось не нарочно. Важно то, что именно вы подходите нам по всем запрошенным параметрам.

— Кто же их запросил?

— Аналитики, — молниеносно ответил он. — Вы прекрасно говорите по-немецки. Хорошо знаете Германию, пусть и современную. Пробелы по истории мы заполним, не волнуйтесь. Технически подкуём. Главное — желание и ваша мотивация.

— И в чём же моя мотивация? Променять расстрельную стенку на вольную жизнь при сраных нацистах? И вольную ли?

— Нет. — Он остановился. — Ваша мотивация в том, что до двадцать девятого января вы должны будете убить конкретного человека. Убьёте — получите прощение. Полное. Бумагу с печатью и новую жизнь.

— Всего-то. И кого же?

Он сказал.

На миг я оторопел, а потом меня прорвало. Смеялся я долго, до слёз — так не смеялся, наверное, с самого ареста. Серый человек терпеливо ждал. Его немигающие глаза не выражали ничего.

* * *

Итак, я должен купить велосипед. По их первоначальной инструкции — на выполнение задания даётся ровно день: с момента получения письма и до темноты. Не успел — будешь наказан. Я всегда успевал, но сулили разное — от электрошока до полного вывода из проекта со всеми вытекающими. Когда я понял, что встрял основательно и навсегда? А когда впервые увидел, кем эти твари являются на самом деле. Все как один лысые, в серых костюмах, с холод-

ным взглядом немигающих глаз. Здесь, в Нюрнберге, я насчитал троих. Может, их и больше — но видел я троих. И они почти неотрывно следят.

Поэтому следовало спешить. И это несмотря на таинственного преследователя в чёрном. Что-то мне подсказывало, что с ними он связан довольно непосредственно и роль его в этой игре чем-то схожа с моей.

План простой: на шестом трамвае до центра, там по аллее до Главного рынка, а после пройти дворами и выйти к лавке Шульца. «Механика и машины» — так значилось на вывеске. Там я видел велосипеды. Только там.

Странной выдалась погода — нетипичной для этой поры. Суровое небо, готовое вот-вот разродиться дождём, сырость от земли, глухое безветрие. Ни единого просвета уже которую неделю. Повезло только наци, что успели отгулять свои июльские выборы под солнцем, — потом словно хорошую погоду выключили.

Трамвай звякнул два раза, когда я уже подходил к остановке. Пришлось ускориться. Я запрыгнул на заднюю площадку и уцепился за поручень. Гладкая, отполированная тысячами ладоней латунь была тёплой и предельно приятной на ощупь. В нос ударил сильный запах парфюма. Подняв глаза, я увидел девушку, сидящую у окна. Молодая бюргер-фройляйн: вздёрнутый нос, пухлые точёные губки, светлые кудри поверх серо-синих глаз. Хороша во всём: парфюм, белый меховой ворот, тёплый взгляд...

— Двадцать пфеннигов, — вырос передо мной кондуктор в форменной фуражке, качнулся на повороте и привычно поймал равновесие, не расплескав ни капли казённого достоинства.

Я протянул мелочь. Компостер сухо щёлкнул, и в ладонь мне лёг билетик — серый, как всё в этом городе. Вагон, дребезжа и вздрагивая на стыках, тащился мимо мокрых фасадов. Пахло углём, сырым сукном и чужим утренним кофе.

Девушка у окна поймала мой взгляд — и не отвела свой. Секунда. Две. Потом уголок её губ дрогнул, и она отвернулась к стеклу. Я по привычке снял портрет: лет двадцать пять; перчатки замшевые, смяты в левой руке; пальто перешито по моде из старого, но очень добротного; на безымянном пальце — след от кольца.

На Главном рынке я спрыгнул с подножки. Площадь уже просыпалась: торговки раскладывали на лотках капусту и лук, пахло конским навозом и свежим хлебом, у фонтана сгучали двое в коричневых рубашках, а мальчишка-газетчик срывал голос на всю площадь:

— Рейхстаг распущен! Новые выборы в ноябре! Читайте экстренный выпуск!

Распущен так распущен. Мне-то что. У меня выборов давно нет. Или есть?

Дворами я срезал два квартала — узкие колодцы, бельё на верёвках, кошачья вонь, плач младенца и капель с карнизов — и вышел к лавке Шульца. Над дверью висел жестяной велосипед, крашенный серебрянкой, — вывеска лучше всяких букв. Колокольчик над дверью отозвался простуженным звяком.

Внутри пахло машинным маслом, канифолью и пылью. Вдоль стен выстроились швейные машинки, на полке темнели ящики радиоприёмников, а в дальнем углу, у окна, стояли они — четыре велосипеда, поблёскивая спицами в жидком свете.

— Чем могу служить? — Шульц оказался сухим стариком в кожаном фартуке, с очками-половинками на кончике носа.

— Велосипед. Дорожный, да покрепче. Из того, что вижу — есть такой? — я указал в угол.

— Покрепче — это Геркулес. Наш, нюрнбергский. — Он тут же юркнул к стойке, ловко подтянул и подкатил ко мне чёрную машину с высоким рулём. — Рама на совесть, багажник, фонарь. Комплектация. Всего сорок восемь марок.

— Сорок две, — зачем-то сказал я.

— Сорок пять, и я налажу спицы и смажу цепь. В подарок.

— Прекрасно, будьте любезны.

Пока он, зажав колесо между колен, звенел ключом по спицам, я стоял у окна и смотрел на улицу. Пусто. Только капли начали расчерчивать стекло — небо наконец решилось.

— Надо же, — сказал вдруг Шульц, не поднимая головы. — Неделью ни одной машины не продал, а тут — второй покупатель за два дня. Вчера господин тоже взял дорожный. Чёрный. Даже не торговался.

Внутри у меня что-то тихо и нехорошо повернулось.

— Приезжий, наверное?

— Кто ж его разберёт. Ворот поднят, шляпа на глазах, а под ними шарф. Простыл, видать. — Шульц пожал плечами и вернул колесо на место. — Платил новыми бумажками, не торгуясь.

Новыми бумажками. Как те, что лежали в моём конверте. Я отсчитал сорок пять марок, взял квитанцию — порядок есть порядок, тут без бумажки и велосипед не велосипед — и выкатил Геркулеса под начинающийся дождь.

Он стоял на другой стороне улицы. Открыто, не прячась, — впервые за все дни. Чёрное пальто, поднятый ворот, широкие поля шляпы, с которых уже капало. Мы смотрели друг на друга через мостовую, и дождь между нами становился гуще. Потом он поднял руку и коснулся полей шляпы — то ли поприветствовал, то ли отдал честь, то ли попрощался. Шагнул в арку, и сумрак сомкнулся за ним, оставив на секунду дымчатый след.

Велосипеда при нём не было. Но я почему-то ни секунды не сомневался, кто вчера не торговался у Шульца.

Домой я ехал верхом, трясясь по брусчатке. Дождь хлестал уже всерьёз, пиджак промок насквозь, цепь весело стрекотала. Успел — до темноты оставалось часа два. Втащил машину в подъезд, поставил под лестницей. Задание выполнено, господа серые.

Вечером, стоя у окна с кружкой остывшего кофе, я думал о простом. Хлеб я съел. Кофе выпил. Газету оставил на скамейке. А велосипед — останется. Он не поручение. Он инструмент. Впервые за три недели мне выдали не проверку на послушание, а снаряжение.

Значит, скоро начнётся движение.

Я погасил лампу и лёг, слушая, как дождь перебирает жёсть карниза. Из тёмного угла комнаты привычно смотрели. Трое.

«Смотрите, — подумал я, засыпая. — Смотрите внимательно. Пешка сделала свой очередной ход».

Глава 2. 28 сентября. «Познакомиться с Рихардом Венге»

Конверт ждал меня в ящике, как приличная жена ждёт мужа: молча и не задавая вопросов. За месяц я почти привык. Почти — потому что привыкнуть к этой кипенно-белой бумаге до конца невозможно, как невозможно привыкнуть к взглядам из тёмного угла.

Я был прав в своих догадках. После велосипеда задания пошли одно чуднее другого. «Принять участие в воскресных гонках у Дутцендтайха» — и я дважды крутил педали вокруг прудов в толпе таких же энтузиастов в кепках и гольфах. Пришёл девятым, потом чуть поднажал — и шестым. «Проехать Себальдов лес от Эрленштегена до просеки и обратно» — и я месил колёсами палую листву, распугивая белок и отставных майоров с таксами и шпицами. «Ездить ежедневно не менее часа». Ноги окрепли, Геркулес обкатался, штанины я научился пристёгивать зажимами, почти не глядя. Организация лепила из меня велосипедиста — старательно, словно из глины. Настоячиво и планомерно, совершенно не заботясь о моих желаниях и мыслях.

Теперь я знал зачем.

На листке значилось: «Познакомиться с Рихардом Венге». Впервые за всё время — имя. Впервые — человек. Не буханка, не парк. Фамилия царапнула что-то на самом дне памяти, но что — я не понял. Пока.

Выяснить, кто такой Венге, оказалось делом двух разговоров у воскресного старта. Партийный функционер из крайсляйтунга, ведаёт спортивными объединениями, заядлый велосипедист — «каждый день ровно в пять делает три круга вокруг прудов, хоть часы сверяй». И ещё, добавили мне со смешком, чудак: ездит по воскресеньям в лес стрелять из Вальтера по пивным кружкам.

Фамилии. Сколько же фамилий в меня влили там, прежде чем выпустить сюда. Память щёлкнула тумблером — и я снова сидел в комнате без окон, только теперь вместо вербовщика напротив стоял другой серый. Куратор по истории.

* * *

Он говорил ровно, с интонацией автоматического диктора.

— Тысяча девятьсот девятнадцатый. Мюнхен. Слесарь Дрекслер основывает Немецкую рабочую партию — пивная, два десятка обиженных жизнью и правительством. Осенью в неё вступает тихий ефрейтор с Железным крестом и склонностью к акварели. Через год партия переименована в национал-социалистическую рабочую, обнародованы двадцать пять пунктов. Двадцать третий год — попытка путча от пивной «Бюргербройкеллер», шестнадцать убитых, ефрейтор в крепости Ландсберг диктует книгу верному Гессу. Двадцать пятый — партия основана заново. Дальше проценты. Выборы двадцать восьмого — два и шесть десятых. Тридцатого — восемнадцать и три. Июль тридцать второго — тридцать семь и четыре, двести тридцать мандатов, крупнейшая фракция рейхстага. Тринадцатого августа Гинденбург отказывает ему в канцлерстве. Запоминайте проценты.

— Зачем мне проценты? — не выдержал я. — Я что, буду вести статистику?

— Вы будете жить среди людей, которые считают эти проценты знамением, — сказал серый, не моргнув. — Знамения надо знать наизусть. Продолжим.

И он продолжал. Часами. Днями. Даты, фамилии, съезды, тиражи газет, цены на хлеб в марках двадцать третьего года — когда за буханку давали миллиарды. Голова моя трещала, как перегруженный трансформатор, и по ночам мне снились проценты, ползущие вверх по стене камеры.

* * *

Двадцать восьмое сентября выдалось до неприличия погожим. Небо, которое месяц давило на Нюрнберг, как пресс на солому, вдруг отпустило. Солнце, золото на клёнах, зеркало прудов — осенний ренессанс. Даже дышалось иначе. Я приехал к Дутцендтайху без четверти пять, сделал разминочный круг и встал у развилки дорожек, где утоптанная колея сужалась между двух лип.

Венге появился ровно в пять. Плотный господин лет сорока, рыжеватые усы, твид поверх свитера, посадка важная, как у памятника, — и хороший, ухоженный Вандерер*. Я тронулся навстречу, вильнул, уходя от несуществующей ямы, — и мы сошлись аккурат между лип.

Грохнуло знатно. Я успел спрыгнуть, Венге — нет: он сидел на дорожке, гневно пыхтя и раздувая щеки, а переднее колесо его Вандерера смотрело восьмёркой в осеннее небо.

— Вы! — Он поднялся, багровея. — Вы ослепли?! Здесь вам не ипподром! Как ваше имя? Я обращусь в полицию...

— Виноват, — сказал я, резво поднимая его машину. — Целиком виноват. И потому сейчас всё исправлю. Дайте мне семь минут.

— Что вы делаете? — Он осёкся, глядя, как я достаю из своего подсумка спицевой ключ.

Я перевернул Вандерер на седло и руль, крутанул колесо, прищурился. Восьмёрка была честная, но сговорчивая. Я отпускаял и подтягивал, четверть оборота за четвертью, и колесо на глазах вспоминало, что такое круг. Венге сопел за спиной всё тише. К пятой минуте он уже сидел рядом на корточках.

— Да вы мастер. Где этому выучились?

— Где выучился — там больше не учат. — Я щёлкнул ногтем по ободу. — Слышите? Звенит ровно. Значит, жить будет.

— Хм. — Он поднялся, отряхнул твид и вдруг протянул руку: — Венге. Рихард Венге.

— Хофман. Пауль Хофман.

— А знаете что, Хофман... — Он оглядел меня, моего Геркулеса, ещё раз меня. — Нюрнбергская машина, нюрнбергская работа. После такого падения, а главное — спасения, положено выпить. Пойдёмте, я угощаю — раз уж вы воскресили мне колесо, которое сами почти и убили.

Так задание было выполнено — за час до заката, с запасом. Но вечер только начинался.

В «Золотом почтовом рожке» у Себальдускирхе пахло веком шестнадцатым: тёмное дерево стеновых панелей и столов, оловянные крышки, свечной нагар. Нам принесли тухеровского тёмного и дюжину жареных колбасок с капустой и хреном. В углу трое в коричневых рубашках, повязках и галстуках вполголоса тянули песню, сбиваясь на припеве.

Венге ел основательно, пил размеренно и говорил — всё охотнее с каждой кружкой. О велосипедах — со знанием. О службе — с гордостью: спортивные объединения гау, «здоровое тело нации, Хофман, начинается с холодной воды и педалей». О ноябрьских выборах — со сдержанной досадой: в июле, мол, взяли двести тридцать, а эти господа из кабинета баронов всё тасуют колоду.

— Барон на бароне, — хмыкнул он в усы. — Папен*. Знаете, что о том говорят? Кабинет его — как хороший клуб: попасть можно только по рождению, а делать там нечего.

Пивная жила своей вечерней жизнью. За соседним столом спорили о ценах на хмель, дальше резались в скат*, шлёпая картами по дереву, и кто-то раз за разом требовал у кельнера «ещё по одной, и на этом всё» — уже четвёртый раз требовал. Коричневые рубашки допели, сдвинули кружки и гаркнули «хайль» — половина зала отозвалась, половина сделала вид, что занята капустой или пивом. Венге отсалютовал кружкой, не вставая.

После третьей кружки он наклонился ко мне и, воровато глянув в угол, шёпотом выдал анекдот про идеального арийца: белокур, как сами знаете кто, строен, как Геринг, и высок, как Геббельс. И сам же первый затрясся от беззвучного смеха, прижимая ладонь к усам.

— Только, Хофман, это между нами, — отдышался он. — В своём кругу можно. В своём кругу — всё можно, на то он и свой.

Я кивнул и запомнил: в свой круг здесь пускают быстро, если у тебя правильный велосипед и правильное молчание.

Я смеялся ровно столько, сколько нужно, поддакивал ровно там, где следовало, и спрашивал ровно о том, о чём спросил бы человек, которому ничего не нужно. Слушать больше, чем говорить, — отточенное ремесло.

— А стреляете вы как? Надеюсь, как чините колёса? — спросил вдруг Венге, отставляя кружку. Его глаза уже слегка налились красным.

— Случалось держать в руках. Не раз.

— Решено, — хлопнул он по столу. — В воскресенье увидим. Мы стреляем в лесу, за Шмаузенбуком. Старый клуб, добрые люди. Приходите к десяти, Хофман. Можете считать это официальным приглашением. Кружку для вас я расстреляю лично.

Он усмехнулся.

* * *

Ночью мне не спалось. Лица, лица... Память услужливо разложила передо мной те колоды — фотокарточки на казённом столе, которые серый куратор метал, как матёрый шулер.

— Смотрите и запоминайте. Первая колода — те, кого знает мир.

Ефрейтор с чёлкой и глазами усталого пророка. Толстеющий лётчик-ас с орденом у горла и морфием в анамнезе. Хромой доктор философии с черепом аскета и ртом демагога. Фермер в очках, похожий на учителя арифметики, — «запомните его особо, он умеет ждать». И местный, франконский: бритый череп, усики, хлыст — гауляйтер Штрайхер, издатель газетёнки с неприятным душком.

— Вторая колода — те, кого не знает никто. Лица второго ряда. Мелкие боги переднего края.

И они сыпались на стол: чиновники, лавочники, штурмфюреры, секретарши. Десятки лиц. Я запоминал — меня хорошо научили запоминать.

Вот что не давало мне покоя с самого утра.

Седьмая карточка второй колоды. Рыжеватые усы, тяжёлый подбородок, взгляд человека, довольного своим твидом. Рихард Венге.

Они знали. Ещё там, до заброски, до конвертов, до буханки хлеба — маршрут уже был проложен (по крайней мере так казалось), и все мои случайности расписаны, как трамвайные остановки. Я лёг и долго смотрел в потолок. Из угла привычно смотрели на меня.

* * *

Воскресенье выдалось под стать среде — звонкое, золотое. Поляна за Шмаузенбуком встретила меня запахом хвои, порохового дыма и кофе из термосов. «Себальдовы стрелки» — так они себя называли: аптекарь, зубной врач, двое лавочников, отставной лейтенант с выправкой на шарнирах и пара молодых людей с одинаково выбритыми затылками, которых никто не представлял по роду занятий.

— Клуб старше, чем Америка, — гордо сказал Венге, растягивая между сосен верёвку с жестяными кольцами. — Гильдия, традиция, устав. А с прошлого года нас, между прочим, взял под крыло сам рейхсфюрер СС. — Он понизил голос до благоговейного. — Гиммлер лично. Ценит старые стрелковые братства. Так что вы, Хофман, попадаете в приличное общество. Сразу.

— Хофман? — Лейтенант смерил меня взглядом. — Из здешних Хофманов?

— Франконец, но вырос за океаном. Буэнос-Айрес. — Я пожал плечами. — Отец увёз нас в девятьсот десятом. Он был кожевенник. И дел там хватало. Вернулся я один. Ни он, ни мать фатерлянд уже не увидят.

— Грустно, — он потупил взгляд. — И как там, в Аргентине, с оружием?

— В пампасах без него скучновато.

Все снова заулыбались.

Кружки — щербатые, потертые, списанные из пивных — выстраивались на пнях и подвешивались на веревку. Черный Вальтер Венге был ухожен, как его Вандерер. Он протянул мне его. Я стрелял третьим. Две кружки я снял, третью промазал — на ладонь, красиво, объяснимо. Четвёртую расколол с разворота, и лейтенант крякнул:

— Рука, знакомая с делом, господа. Пампасы, говорите?

— Отец говорил: кто не попадает в мишень, тот не попадает в жизнь.

— А это дельная мысль, Хофман! Стоит запомнить.

Смеялись. Хлопали по плечу. Наливали кофе с ромом. К полудню я был «наш Хофман из пампы», к трём — просто Пауль. Ремесло не пропьёшь: в чужую стаю входят с опущенной головой и твёрдой рукой.

Вечером Венге затащил меня к себе, в квартиру в Санкт-Йоханнисе — тяжёлая мебель, герань, портрет кайзера, из-под которого виднелась темная рамка обоев большего размера: видно, недавно здесь висел кто-то другой. Его жена Ильза, высокая тихая женщина с усталыми красивыми руками, накормила нас айнтопфом и весь вечер слушала, как мы решали судьбы велосипедного спорта. Один только раз она вмешалась — когда Венге, разгорячившись, принялся расписывать, как после ноября «всё наконец встанет на свои места».

— Рихард, — сказала она негромко, собирая тарелки. — Вероятно, господину Хофману завтра рано вставать. Как и тебе.

И Венге, партийный функционер и гроза пивных кружек, умолк на полуслове, как школьник. Уходил я глубокой ночью, унося в кармане приглашение на следующее воскресенье и странное послевкусие: в этом доме о ноябре предпочитала не говорить как раз та, у кого были самые внимательные глаза.

Улица спала. Фонари цедили жёлтое на брусчатку, каблучки мои стучали одиноко и гулко. Она вышла из-за угла у самого перекрёстка — быстро, наискось, и мы едва не столкнулись.

— Простите, фройляйн...

Запах парфюма ударил в нос — тот самый, трамвайный, двухнедельной давности. Она подняла глаза — серо-синие, спокойные, ничуть не испуганные. Узнала. Я видел, что узнала. Уголок губ дрогнул — точь-в-точь как тогда, у окна, — и она прошла мимо, и каблучки её застучали по брусчатке ровно, как метроном.

Я стоял под фонарём и слушал, как стук растворяется в ночи.

Так не бывает. Другой конец города, глубокая ночь, две недели спустя — так не бывает. А ещё, сообразил я вдруг, и от этой мысли стало холоднее, чем от первой: человека в чёрном я не видел с того самого дня, как купил велосипед.

Партия шла. И ходили в ней, похоже, не только мной.

Глава 3. 10 октября. «Внести посильную лепту»

Конверт был на месте, и я вскрыл его ещё в подъезде, у ящика, — за месяц пальцы выучили это движение до автоматизма. На листке значилось: «Внести посильную лепту».

Я перечитал трижды. Потом ещё раз. Хлеб был хлебом, велосипед — велосипедом, Венге — Венге. А это как понимать? Лепту. Посильную. Внести. Куда, кому, чем? До темноты оставалось часов девять, а я впервые за всё время не понимал задания — и от этого под рёбрами заворачивался нехороший холодок. Не было желания подводить к потенциальному провалу и выводу из проекта.

Последние две недели прошли, как по маслу, — если бы я верил, что масло лью я сам. После стрельб Венге взялся за меня всерьёз: пивная во вторник, скат* по четвергам, воскресенье — в лесу за Шмаузенбуком. Он таскал меня по знакомым, как ярмарочный фокусник кролика: аптекарь свёл с братом из городской управы, зубной врач оказался казначеем районной ячейки НСДАП, отставной лейтенант — инструктором при штурмовиках. Я чинил им велосипеды, подсказывал, где в приёмнике садится лампа, смеялся их шуткам и проигрывал в скат ровно столько, чтобы меня любили, но продолжали уважать. В общество, которое я собирался осиротить, я вливался как родной.

А вечером в среду Венге, провожая меня, обронил, что в понедельник, то есть уже сегодня, в Луитпольдхайне — большая сходка, будет говорить сам фон Вальбек, и что мне непременно нужно быть. И добавил, понизив голос до заговорщицкого: есть, мол, у него, у Венге, одна мысль на мой счёт. Какая — не сказал, лишь подмигнул.

Я стоял с листком в руке и думал: сходка. Речи, марши и — жестяные кружки сборщиков. «Жертвуйте на борьбу». Посильная лепта. Ну конечно. Эти шутники в сером даже вымогательство умеют оформить как поручение.

Я сунул в карман десять марок и подумал, что дёшево отделался. Знал бы я, какой курс у их лепты.

* * *

Физику мне преподавал третий серый — я звал его про себя инженером. Он положил передо мной радиолампу, револьверный барабан, свечу зажигания и сказал:

— Забудьте всё, что вы знаете о технике. Ваш новый мир работает на огне, меди и керосине. Полупроводников нет. Пластмасса — роскошь. Клей недостаточно хорош.

— А что из хорошего?

— Хорошее — то, что и вас никто не сфотографирует со спутника. Не снимет на скрытую камеру. Техника слепа в обе стороны. Учитесь пользоваться темнотой — её в вашем новом мире с избытком.

И меня учили заново, как первоклассника. Лампы и катушки, пробки на щитке, карбидные фонари. Магнето, двойной выжим сцепления, кривой стартер — «и не подставляйте большой палец, отдачей ломает именно его». Оружие эпохи я разбирал до звона в ушах: люгер*, маузер, вальтер*, драйзе — собрать, разобрать, вслепую, на время, со сбитым прицелом, с патроном, который перекошило.

— Зачем мне уметь чинить радио? — спросил я как-то, паяя проклятый волосок.

— Затем, что человек, который умеет чинить радио, в тридцать втором году нужен всем, — сказал инженер. — А человек, который нужен всем, не так нужен полиции.

Это была единственная шутка за три месяца. Если это была она.

* * *

Понедельник выдался ясным и холодным, с ветром, гонявшим по Луитпольдхайну листву и обрывки лозунгов. Народу собралось тысячи полторы: безработные в перелицованных пальто, лавочники, юнцы с горящими глазами, шеренги коричневых рубашек с флагами.

Пахло дымом полевой кухни — варили гороховый суп, и очередь к котлу была не короче очереди к трибуне.

Венге встретил меня у входа, сияющий, в новом галстуке.

— Хофман! — Он ухватил меня под локоть и повёл сквозь толпу, раскланиваясь направо и налево. — Сегодня великий день, я вам скажу. Смотрите, слушайте. И вот ещё что... — Он привстал на цыпочки, к самому моему уху: — Я решил. Буду за вас ручаться. В партию, Пауль, в партию — если вы, конечно, не против. Люди вроде вас нам нужны позарез.

Я изобразил на лице приличную случаю смесь смущения и гордости. Не против ли я? Святая простота с рыжими усами.

Мимо плыл сборщик с жестяной кружкой. Я опустил в прорезь десятимарковую бумажку — сбоку одобрительно загудели, — и с души у меня упал камень размером с подвал. Лепта была внесена, темнота больше не пугала. Оставалось досмотреть спектакль.

На дощатую трибуну поднялся фон Вальбек — я узнал его раньше, чем Венге благоговейно выдохнул имя. Вторая карточка второй колоды. Второго человека в гау после Штрайхера. Высокий, с серебряной гривой и голосом, поставленным на прусском плацу; дворянская фамилия в партии лавочников смотрелась как фрак на сеновале, но толпе это, похоже, и нравилось.

Он говорил о ноябре, о предателях в Берлине, о хлебе и величии. Говорил хорошо — надо отдать должное: без визга, на низких нотах, как говорят с солдатами перед атакой. Толпа дышала ему в такт. Когда он поминал Берлин, полторы тысячи глоток выдыхали злобу; когда хлеб — становилось тихо, что слышен был ветер в голых липах; когда величие — над головами вырастал лес рук. Я стоял среди этого леса, поднимал вместе со всеми — рука уже выучилась это делать сама, и меня, честно сказать, мучило от того, как быстро это случилось.

Я слушал вполуха — ремесло слушало за меня. Оно и зацепилось: в третьем ряду, наискось от трибуны, человек в потёртом пальто стоял неправильно. Все подавались к трибуне — он стоял на отходе, вполборота, и правая рука его жила отдельно от лица. Лицо кричало «хайль», а рука ныряла за пазуху.

Дальше тело работало без меня. Три шага, толчок плечом сквозь чьи-то спины — рука с Браунингом уже выходила на линию, — я поймал запястье на замок, крутанул на себя и вниз, и выстрел, предназначенный серебряной гриве, хлопнул глухо, между нами, как пробка. Человек в потёртом пальто осел мне на руки, будто сразу уснул. Я опустил его на затоптанную траву, и только тогда закричали.

Пока толпа сжималась и штурмовики, опоздавшие все до одного, расшвыривали зевак, я сделал то, что делают руки, когда голове страшно: прошёлся по его карманам. Ни бумаг. Ни денег. Ни табака, ни ключей, ни фотографии невесты — ничего, чем человек обрастает, как днище корабля ракушками. Только во внутреннем кармане — сложенный вдвое белый конверт. Пустой. Чистый. Без имени, марки и штемпеля.

Я узнал эту бумагу, как узнают почерк.

Конверт исчез у меня в рукаве за секунду до того, как на плечи мне легли чужие руки — сначала в суматохе заламывая. Но быстро отпустили. Окружили «свои».

Дальше всё завертелось с той особой скоростью, с какой вертятся дела, когда их исход всем удобен. Приехала криминальная полиция — двое усталых мужчин в штатском, у которых на лицах было написано, что покойник в Луитпольдхайне нужен им, как насморк. Меня спрашивали минут двадцать, и я отвечал чистую правду: увидел оружие, перехватил, выстрел пришёлся в нападавшего. Правда — лучшая из легенд, если правильно выбрать, где ей закончиться и каковой ей быть. Штурмовики наперебой свидетельствовали такое, чего не видел даже я. Слово «красный» произнесли раньше, чем тело накрыли брезентом, — произнесли без вопросительной интонации, и я понял, что оно уже утверждено, отпечатано и подшито. Никто не спросил, почему у «красного» нет ни партбилета, ни листовок, ни имени. Мёртвый враг удобен тем, что не портит анкету.

Фон Вальбек спустился с трибуны сам. Толпа расступалась перед ним, как вода. Он посмотрел на брезент, потом на меня — долгим взглядом человека, привыкшего оценивать лошадей и людей, — и протянул руку.

— Как вас зовут? Кто вы?

— Хофман. Пауль Хофман.

— Германия запомнит это имя, Хофман. Уж поверьте мне.

«Вот это, — подумал я, пожимая сухую сильную ладонь, — весьма вероятное будущее».

* * *

Стрелял я у серых по три часа в день, пока мозоль на ладони не стала частью люгера, уже такого родного. Но тир был самым скучным из их аттракционов. Был ещё квартал.

Целый квартал-декорация: брусчатка, газовые фонари, аптека с орлом, трамвайный вагон на обрубке рельсов. Меня запускали туда, как таксу в нору: выследить «зайца» из местных, уйти от двух «теней», сменить внешность между вторым фонарём и аркой. Меня учили водить: опель, хорьк*, грузовой бюссинг — двойной выжим, прогазовка, «сцепление здесь не прощает торопливых, как и всё в этой эпохе». Меня учили охоте — той, где цель не знает, что она цель. «Зайцем» работал кто-то из местных — я видел его только со спины и в толпе статистов, которых на время учений запускали в квартал, как рыбу в садок. Неделю я вёл его, менял шляпы и походки, покупал у бутафорской тумбы бутафорские газеты. На восьмой день инструктор сказал: «Сегодня». И я сделал это — из подворотни, куском водопроводной трубы, обёрнутым в газету. Труба была настоящая. «Заяц» — соломенный, в человеческий рост и вес, его подставили мне на последнем повороте вместо живого. Но узнал я об этом только по звуку удара.

— Зачёт, — сказал серый, глядя, как я стою над соломенным человеком. — Вас что-то смущает?

— Смущает, что не смущает. Впрочем, обычное дело.

— Это пройдёт, — сказал он. И до сих пор не знаю, что он имел в виду: смущение или его отсутствие.

Однажды, отсиживаясь в декорации трамвая, я увидел на латунном поручне царапины. Четыре короткие палочки, процарапанные ногтем или ножом. Я спросил инструктора, кто здесь тренировался до меня.

— Квартал новый, — сказал серый, не моргнув. — Вы первый.

Врать они не умели только глазами. Глазами они не умели вообще ничего.

* * *

Вечером в гауляйтунге давали приём — стремительно, по-походному: коньяк из аптечных запасов, бутерброды, речи. Фон Вальбек тряс мою руку своей сухой и сильной ладонью.

— Знаете, Хофман. Германия не забывает своих сыновей, где бы они ни родились, хоть в самой Патагонии. И для меня очень важно, когда корабли пристают в родной гавани, что бы для вас это сейчас ни значило. Очень рад нашей встрече.

Он обернулся, и молодой человек с выправкой — адъютант или кто он там был — подал ему плоский деревянный футляр. Вальбек открыл его и повернул ко мне. На зелёном сукне лежал люгер: армейский, с потёртым воронением и клеймом на затворе, ухоженный, как всё у этого человека.

— Мой личный. С восемнадцатого года. Мне он больше не нужен — у меня теперь есть шофёр. — Он усмехнулся одними глазами. — А вам, Хофман, необходим. Герои в этом городе живут дольше, если вооружены. Носите.

Я поклонился и взял. Футляр был тяжёлый, и вечер сразу стал понятнее. Меня не просто благодарили. Меня вооружали — с разрешения гау и под его же присмотром.

Вероятно, Венге знатно постарался, дав мне заочно какую-то неплохую характеристику. Сейчас он стоял поодаль и сиял так, что при нем можно было читать в темноте. Какой-то газетчик записал моё имя, дважды переспросив фамилию, — завтра Нюрнберг узнает про «реш-

тельного соотечественника из-за океана». Убитого называли «красным», хотя никаких заявлений от них не было.

А потом Венге подвёл меня к столику у окна.

— Пауль, позвольте вам представить — фройляйн Хаас, наша канцелярия держится на ней одной. Магда, это тот самый Хофман.

Она подняла глаза от бокала — серо-синие, спокойные. Парфюм я узнал за метр.

— Мы, кажется, встречались, — сказал я. — Шестой трамвай, недели четыре назад.

— Я каждое утро езжу шестым. — Уголок губ дрогнул знакомо. — На службу.

— И по ночам в Санкт-Йоханнисе.

— Там живёт моя подруга. — Она ответила, не задумавшись и на полсекунды, ровно, как отвечают выученный урок. — Тесен Нюрнберг, господин Хофман. Особенно для человека, который повсюду успевает.

Мы проговорили полчаса — о пустяках, о трамваях, об Аргентине, которой я не видел. Врал я вдохновенно: пампасы, ливни, отцовская кожаная контора у порта. Она слушала, чуть склонив голову, и в какой-то момент спросила — легко, между глотками вина:

— И вы совсем не скучаете по дому, господин Хофман?

— По какому из них?

Она посмотрела на секунду дольше, чем требовал вопрос. Потом рассмеялась — правильно, вовремя, ровно настолько, насколько смеются над удачной шуткой нового героя дня.

Совпадения — валюта, которой со мной в последнее время расплачивались слишком щедро, и я не верил ни одной её купюре. Но брал. Ремесло не пропьёшь: фальшивые деньги тоже ведут к печатному станку.

Домой меня отвёз шофёр фон Вальбека — чёрный Мерседес урчал и шелестел по ночной брусчатке, и я думал о том, что лепту сегодня внёс дважды: десять марок и одну жизнь. И о том, что задание, которое понимаешь только после того, как выполнил, — это не задание. Это ход. Ходят так, как я сегодня, — чужой рукой.

Свет в подъезде не горел. Я нащупал перила, ступил на первую ступеньку — и из темноты под лестницей, оттуда, где стоял Геркулес, меня тихо окликнули.

Не «господин Хофман». Не «Пауль».

Меня окликнули по имени. По-настоящему. По тому, которое осталось в другом мире — в протоколах, в приговоре, в расстрельном списке.

Глава 4. 22 октября. «Вступить в контакт с членом НСДАП»

На листке значилось: «Вступить в контакт с членом НСДАП».

Я стоял у ящика и честно пытался понять, издеваются они или проверяют. За последние две недели я вступал в контакт с членами НСДАП чаще, чем брался за дверные ручки. Я пил с ними тухеровское, чинил им велосипеды, проигрывал в скат. Газета назвала меня «решительным соотечественником из-за океана», и теперь в пивной мне жали руку люди, чьих фамилий я не успевал запомнить, — сплошь партийные. А в четверг ко мне зашёл Венге — сияющий, в криво повязанном галстуке — и с порога объявил, что всё решено: во вторник меня принимают. Заявление подано, поручители — он сам и зубной врач.

— И это, Пауль, между прочим, честь, какой иной местный уроженец ждёт годами. Поверь мне. Ты многим пришёлся...

Полтора месяца. От буханки хлеба до кандидата в партию — за полтора месяца. Хорошие темпы «моей» конторы, что тут скажешь. Меня продвигали по этому миру, как фигуру, пешку по хорошо разыгранному дебюту, и я даже примерно догадывался, в какую клетку меня двигают. Не догадывался лишь, зачем тогда сегодняшний листок. Контакт с членом НСДАП. Ещё раз, отдельным пунктом. Для чего?

Ответ явился сам — в половине двенадцатого, на извозчике.

Магда была в тёмно-зелёном костюме, строгом, как приговор, и в шляпке, которая этот приговор смягчала до условного. На лацкане жакета сидел круглый эмалевый значок — тот самый, золотой со свастикой в белом круге.

— Господин Хофман. — Она стояла на пороге и даже не делала вида, что смущена. — Я к вам по поручению и без.

Я немного смутился для проформы, но приветливо улыбнулся.

— Начнём с поручения.

— Канцелярия просит вас во вторник быть к десяти и иметь при себе фотографии. Это поручение. — Она сняла перчатку, палец за пальцем. — А без поручения: у меня два билета на оперу, на вечер, и все, с кем я хожу туда в последнее время, безнадежно глухи. Вы не глухи, господин Хофман?

— Смотря что играют.

— Вагнера, разумеется. В этом городе теперь всегда играют Вагнера.

— Тогда я глух наполовину. На ту, которая про «Валькирий».

— Сегодня обойдётся без «Валькирий». «Мейстерзингеры» — это про Нюрнберг. Про наш с вами город, каким он был, когда умел петь, а не только маршировать. — Она сказала это ровно, без нажима, глядя куда-то мимо меня, на лестницу. — Я вас приглашаю. Пять часов музыки. Выдержите?

— Я выдерживал допросы и подольше.

— Надеюсь, сравнение в пользу оперы.

Я смотрел на значок у неё на лацкане. Член НСДАП. С тридцатого года, как она обронила потом, — «вступила до того, как это стало модой». Конверт лежал во внутреннем кармане и, кажется, посмеивался.

— В семь у театра, — сказала Магда, натягивая перчатку обратно. — Не опаздывайте. Увертюру я не прощаю никому.

Извозчик увёз её, а я остался стоять в подъезде, возле Геркулеса, и смотрел в тёмный угол под лестницей. Двенадцать дней я обходил этот угол, как обходят свежую могилу. Потому что двенадцать дней назад из него меня окликнули по имени.

* * *

— Алексей.

Ночь после Луитпольдхайна, тёмный подъезд, рука моя уже шла к горлу окликнувшего — и остановилась на полпути, потому что от имени я вздрогнул сильнее, чем он — от моей руки. Здесь меня звали Паулем. Там — номером. Алексеем меня не звал никто уже очень и очень давно.

— Тихо, — сказали из темноты. — Не здесь. Идёмте к вам. Ключ у вас в левом кармане, и вы всё равно не скоро заснёте.

Он вошёл первым, как к себе, — человек в чёрном пальто, так и не снявший шляпы. Сел у окна, спиной к стене, лицом к двери — сел правильно, профессионально, и от этой правильности мне стало тоскливо. Я зажёл лампу. Под полями шляпы обнаружилось лицо — обыкновенное, усталое, лет пятидесяти, из тех лиц, что забываешь, пока смотришь.

— Вы ведь уже поняли, кто я, — сказал он. Русский его был чистый, но с признаками отвыкания, как походка после долгого гипса.

— Один из. Такой же, как я. Отправленец.

— Был, — он качнул шляпой.

— А тут можно «быть»?

— Я ушёл. Ушёл от них. Поэтому «был». Не спрашивайте как — это единственное, что я вам пока не скажу. Важно другое: для них меня больше нет. Они смотрят — и не видят. Вот прямо сейчас, из этого угла, они смотрят на вас. На вас, понимаете? Меня в этой комнате для них не существует.

Я невольно глянул в угол. Темнота как темнота. Взгляд как взгляд — я и привык, и не привыкну.

— Кто они вообще такие? — спросил я. — Вы знаете?

— Знаю меньше, чем вы думаете, и больше, чем бы мне хотелось. — Он положил шляпу на колено, порыскал глазами по столу. — У вас выпить есть? Нет? Жаль. Ладно. Они не злые, Алексей. Это в них самое страшное. Злого можно понять — у злого есть цель, аппетит, страх. У этих — сценарий. — Он помолчал, будто и сам слышал это впервые. — Вы для них не человек. Даже не инструмент. Переменная. Подставили в уравнение — смотрят, что выйдет. Не выйдет — подставят следующего.

— Следующего?

— А вы думали, вы один такой — с конвертами? — Он посмотрел на меня почти с жалостью. — Вы у Шульца велосипед покупали. Продавец вам ничего занятного не рассказал?

— Докажите, что вы не один из них. Что вы не очередной конверт, только говорящий.

— А я уже доказал. — Он криво усмехнулся. — Я купил велосипед за день до вашего задания, и вам не пришлось ни одного конверта на мой счёт.

И ведь правда — ни одного.

* * *

До вечера было далеко, и я пошёл слоняться по городу — думать ногами, как привык. Погода держалась ясная, стылая; над Пегницем висел жидкий пар, и старый город стоял в нём по колено, как декорация, которую забыли убрать.

Город к ноябрю оделся в предвыборное. Тумбы пестрели плакатами — свастика на красном, три стрелы поверх свастики, серп и молот поверх стрел, и всё это заклеено и переклеено по десять раз, слой на слой, — по срезу можно было бы считать недели, как кольца на пне. У биржи труда стояла очередь — серая, тихая, длиной в квартал; человек-бутерброд таскал вдоль неё рекламу гуталина. В воздухе повисла какая-то немая тоска, без ярких вскриков и смеха. Лишь повсеместное монотонное бормотание, словно гул старого трансформатора, растекалось по улицам.

Я взял кофе в кондитерской на Кёнигштрассе — в той самой, из второго конверта, — и посидел у окна, листая газету. Газета обещала твёрдую власть, крепкую марку и виновных. В витрине радиолавки напротив горланил приёмник, у витрины стояли люди — слушали бесплатно, подняв воротники. Кельнерша, забирая чашку, вздохнула, что сахар опять подорожал, и спросила: придут ли красные, если не придут эти? Я сказал, что не придёт никто и всё останется, как есть.

Дальше по Кёнигштрассе мне пришлось остановиться: шли штурмовики. Впереди — знамёна, за ними — колонна по четыре, сапоги в такт, и над сапогами — песня про камрадов, про знамя и про тех, кто пал. Хорст Вессель, штатный покойник партии. Сутенёр, посмертно ставший героем масс. Следом полз грузовик с открытым кузовом, битком набитый коричневыми рубашками; они держали флаги, как вёсла, и скалились прохожим сверху вниз. Прохожие поднимали руки — кто с жаром, кто ровно на ту высоту, на какую требовала улица, и ни сантиметром выше.

Вот что я понял за эти полтора месяца: здесь стало очень трудно быть одному. Строем ходили даже безработные. У каждого — союз, фэрайн, ячейка, значок, место в колонне, и человек без колонны смотрелся подозрительнее, чем человек без документов. Лучшее, что мог сделать человек моего ремесла, — выбрать себе колонну самому. Что, впрочем, я с успехом и делал. С разрешения, даже с указания серых. По их листкам. А Иозеф, тот из колонны вышел. Если, конечно, не врал.

* * *

— Как вас называть? — спросил я его тогда, под утро.

— Иозеф. — Пауза была короткая, но я её услышал. — Будем считать, что Иозеф.

— Здесь каждый второй Иозеф. Включая будущего рейхсминистра пропаганды.

— Потому и Иозеф. Хотя, что касается того министра, он ведь в первую очередь Пауль, — он усмехнулся и поднялся. Прошёлся к окну, глянул сквозь щель в занавеске. — Слушайте меня, Алексей. Секрета своего я вам не открою — не из вредности: он вас сейчас убьёт, вы не готовы. Но я знаю, как вам помочь. Знаю, что у вас за задание, знаю, чем оно кончается — видел, чем, — и знаю, где в их партитуре есть... люфт. Зазор. Мне нужно время. Несколько недель. Я вернусь.

— Чем оно кончается? — спросил я. — Вы сказали — видели.

— Всем, чем угодно, кроме того, что вам обещали. — Он надел шляпу, и лицо его снова ушло в тень. — Прощение, бумага с печатью, новая жизнь... Алексей, вы же профессионал. Вам когда-нибудь платили по счёту, который выписан человеку, уже сделавшему работу?

— Случалось, — признал я.

— Вот. А теперь спросите себя: зачем нанимателю смертник? Именно смертник, а не мастер с хорошей репутацией и желанием жить? — Он взялся за ручку двери и не повернул её. — Затем, что по смертнику не бывает недоимок. Я не говорю, что знаю ответ. Я говорю, что задавал себе этот вопрос слишком поздно, и хочу, чтобы вы задали его вовремя.

— Почему я? Почему вы мне помогаете?

Он помолчал. Первый раз за ночь он молчал так долго.

— Будем считать, что мне надоело быть переменной, — сказал он наконец. — А в одиночку из уравнения не выходят. Это тоже — считайте, что всё, что я скажу.

Он так и не открыл дверь. Он просто стал тоньше. Воздух вокруг него дрогнул, как над раскалённой брусчаткой, контур поплыл — и в комнате остались только запах табака и дымчатый след, тающий в свете лампы. «Скоро вернусь», — сказал след. Или мне уже казалось.

Воздух в комнате стал вязким, и сон навалился на меня сразу, без предупреждения, как мешок с песком, — не мой, какой-то чужой, плотный. Я ещё успел дойти до кровати. И уже с подушки, сквозь смыкающиеся веки, я увидел их — в углу, где темнота гуще: трое. Серые,

лысые, неподвижные. Они стояли и смотрели на меня, не мигая, и в глазах у них не было ничего — ни злобы, ни интереса. Так смотрят на прибор.

Наутро я мог бы счесть всё это сном. Если бы не блюдо на столе с чужим окурком. И не стул у окна — спинкой к стене, лицом к двери.

* * *

К семи я стоял у театра, выбритый до синевы и в единственном приличном костюме, пошитом ещё в сентябре. Опера сияла — электричество, мрамор, меха, — и по лестнице поднималась публика, у которой кризис был чем-то, что случается с другими.

Магда пришла в тёмном платье, без значка — вечером свастику здесь пока ещё снимали, тем более в опере, — и была до того хороша, что двое офицеров рейхсвера споткнулись об неё взглядами одновременно.

— Не опоздали, — отметила она. — Уже люблю вас, господин Хофман.

«Мейстерзингеры» шли пять часов, и все пять часов Нюрнберг на сцене был солнечным, поющим и добрым — городом сапожников-поэтов, где самое страшное зло — проигранный песенный конкурс. Я смотрел на этот пряничный город, потом в темноту зала, на лица, — и думал, что настоящая декорация сейчас одна: та, что за стенами, с плакатами в десять слоёв.

В антракте, у буфета, между глотками мозельского, я спросил:

— Значит, во вторник в десять, с фотографиями?

Она рассмеялась, поставила бокал.

— Ваша фамилия в списке третья сверху, и рядом рукой Венге написано «герой Луитпольдхайна» — с восклицательным знаком. Он бы и два поставил, но не позволила бумага.

Я сделал глоток, посмотрел на неё пристально, чуть прищурившись:

— А вы? Что бы написали вы?

Она взяла бокал обратно, посмотрела сквозь мозельское на люстру.

— Я бы написала: «человек, который появляется вовремя». Это редкий талант, Пауль. У нас в партии таких единицы — всё больше те, кто опаздывает к делу, но поспевает к раздаче.

— Смелые слова. Я бы даже сказал — отчаянные.

— Я четвёртый год печатаю их анкеты. — Она пожала плечами. — Насмотрелась. Да и с вами-то я могу начистоту?

Она вдруг коснулась моей щеки губами — быстро, у всех на виду, по-хозяйски, и десяток партийных лиц вокруг одобрительно качнулись: герой Луитпольдхайна делает успехи.

Домой мы ехали на извозчике вдвоём, и молчали, и это было единственное честное молчание за весь мой здешний срок. Лампу я зажигать не стал.

Той ночью я вступил в контакт с членом НСДАП — и пусть серые в своём подвале трактуют формулировку как хотят. Я, засыпая рядом с её дыханием, был твёрдо и безмятежно уверен: задание выполнено. Впервые за полтора месяца — с удовольствием.

Из угла смотрели. Я повернулся к углу спиной.

Глава 5. 7 ноября. «Быть на банкете у Штрайхера»

Впервые за два месяца задание было очевидным. На листке значилось: «Быть на банкете у Штрайхера», — а приглашение на этот банкет уже третий день лежало у меня на столе, прижатое пепельницей: плотный картон, готический шрифт, подпись адъютанта. Героя Луитпольдхайна, партайгеноссе Хофмана, ждали к восьми. С дамой.

С дамой.

Очевидность меня и насторожила. До сих пор конверты требовали того, чего у меня не было, а если и существовало, то весьма абстрактно. Сейчас же от меня требовали то, что лежало на поверхности. И ещё одно: банкет начинался затемно — а значит, их собственное правило, «в текущий день», сегодня не работало.

Когда контора меняет правила, это неспроста.

Вчера страна голосовала, а уже сегодня газетные мальчишки надрывались на всех углах: партия потеряла два миллиона голосов и тридцать четыре мандата — но осталась первой. А красные прибавили. Одиннадцать мест — не так уж много, если просто прочитать в газете. Но на улицах это читалось иначе, читалось и передавалось: лавочник — приказчику, приказчик — кондуктору, вполголоса, не поворачивая головы, и слово «прибавили» произносилось тем особым полушёпотом, каким на корабле говорят о воде в трюме. Никто не кричал.

Банкет у Штрайхера задумывался как победный. Отменять его не стали. Я догадывался, что получится нечто среднее между пиром и военным советом, и не ошибся.

Партийный билет у меня уже был — со вторника, двадцать пятого. Церемония вышла будничной, как прививка: канцелярия, фотографии, подписи, рукопожатия. Венге с влажными от умиления глазами. Магда выдала мне билет через окошко и подмигнула поверх печати. Так я стал членом партии, которую собирался однажды обезглавить.

С Магдой мы теперь были, как выражаются протоколы, в тесном контакте. Она оставалась у меня по субботам, иногда со среды. И вот что я скажу: ночи были жаркими, а вот часы после — ледяными. Она засыпала на моём плече, а я лежал и думал о том, о чём думать не велено. Пешка. Переменная. «Не выйдет — подставят следующего». Иозеф не возвращался уже месяц, но слова его квартировали у меня в голове бесплатно и съезжать не собирались.

* * *

Интригам меня учил отдельный серый — я прозвал его церемониймейстером. У него единственного из всех был галстук с булавкой, и это смотрелось на нём, как красный бант на гильотине.

— Нас интересуют три исторические школы, — говорил он, раскладывая по столу портреты, как гадалка. — Борджиа устранили. Медичи покупали. Бонапарт очаровывал. Устранять вы умеете, покупать вам нечем. Остаётся третья школа.

И меня дрессировали. Как входить в комнату, чтобы тебя заметили, и как — чтобы забыли. Как смеяться чужой шутке на полтакта раньше остальных. Как проигрывать в карты нужному человеку и как быть полезным, не будучи навязчивым: «Полезный получает приглашения. Смешной получает прощение. Удобный получает доверие. Станьте всеми тремя, и вам откроют любую дверь — сами, изнутри».

Мы репетировали приёмы, обеды, похороны. Он играл то хозяина, то генерала, то ревнивого мужа, и играл, надо признать, лучше всякого театра. На выпускном этюде я за вечер «поднялся» от лакейской до кабинета хозяина дома, не назвав ни одной фамилии и не солгав ни разу вслух.

— У вас талант нравиться, — сказал церемониймейстер без всякого одобрения. — Постарайтесь, чтобы он вас пережил.

* * *

Днём я заглянул к Венге — вернуть журнал по велосипедному спорту и посмотреть в глаза. Его на банкет не позвали. Он ни словом об этом не обмолвился — суетился, поил меня кофе, дважды повторил, что Штрайхер «человек прямой, вы ему понравитесь», и советовал, какие сигары там будут и от каких отказаться. Только в передней, подавая мне пальто, он вдруг сказал, не глядя:

— А ведь это я вас нашёл, Пауль. Помните? На дорожке, у лип.

— Помню, Рихард. Такое не забывают — у меня до сих пор обод вашего «Вандерера» перед глазами.

Он засмеялся с облегчением, и мы распрощались тепло. Но по лестнице я спускался с нехорошим осадком: за два месяца я перерос человека, который меня сюда ввёл, и оба мы сегодня сделали вид, что этого не заметили. В ремесле это называется «отработанная ступень». В жизни это называется хуже.

Чёрный смокинг я взял накануне напрокат у театрального костюмера на Фюрер-штрассе — я невольно вздрогнул, когда прочёл табличку с названием улицы: она называлась так задолго до всей этой пубрики. Смокинг сидел прилично, но пах чужим одеколоном и нафталином — запах всех взятых напрокат жизней, включая мою.

Магда была в красном. В дерзком, вызывающе красном платье с белым лисьим воротником, и когда она спускалась ко мне по лестнице, я подумал, что в этом городе серых пальто и коричневых рубашек она выглядит, как сигнальная ракета над окопами.

— Скажете что-нибудь? — спросила она, поворачиваясь.

— Скажу, что рядом с вами меня сегодня не запомнит никто.

— На это и расчёт, — усмехнулась она. — Запоминаться должны дамы, господа запоминать.

Ровно в половине восьмого у подъезда мягко осел чёрный Мерседес фон Вальбека — тот самый, с шофёром, у которого затылок был шире плеч. Мы поехали через вечерний город: мокрые торцы, жёлтые окна, на тумбах — вчерашние плакаты, уже никому не нужные. Уже история.

* * *

Фарватер мне рисовал аналитик — серый с указкой, у доски, на которой мелом были расчерчены четыре имени лесенкой.

— Штрайхер — дверь, — говорил он, стуча указкой. — Гауляйтер Франконии. Вульгарен, тщеславен, злопамятен. Ему не нужно нравиться — ему нужно не мешать блистать. Гиммлер — коридор: ваш стрелковый клуб уже в его хозяйстве, этого достаточно, не форсируйте. Геринг — прихожая. Единственный из верхушки, кто любит людей вашего типа: решительных, с руками. Дальше — цель.

Указка остановилась на верхней фамилии. Он не произнёс её. Они вообще не произносили её без нужды, как сапёры не пинают непонятные ящики.

— Запомните главное: до тридцатого января он — человек. Вождь партии, но человек: пивные, поезда, митинги, рукопожатия. После тридцатого он — государство, он история. Охрана, кордоны, протокол. Человека убить можно. Государство — нельзя. Ваш последний день — двадцать девятое. Плывите по фарватеру и не выдумывайте собственных маршрутов: на них вы сядете на мель.

* * *

Дом Штрайхера сиял всеми окнами, как океанский пароход, невесть как вставший посреди тёмного квартала. В гардеробе теснились меха, в зале — белые смокинги вперемешку с мундирами, и над всем этим плавал запах жаркого, сигар и духов, перебивающих друг друга насмерть. Хозяин встречал гостей у камина — плотный, вздёрнутый, с голым черепом и усиками, в белом смокинге, из-под которого он то и дело извлекал стек и похлопывал себя по

ляжке, как жокей перед заездом. Взгляд у него был липкий: проходя мимо, его хотелось стряхнуть.

— А-а, наш герой! — Он тряхнул мою руку. — Слышал, слышал. Фон Вальбек вас искренне рекомендовал. Побольше бы нам таких из-за океана — и поменьше некоторых здешних, а? Ха!

Шутка была никакая, но я рассмеялся на полтакта раньше остальных, и липкий взгляд потеплел.

Дверь, сказал аналитик. Ей нужно не скрипеть.

Вальбек нашёл нас у стола с франконским — серебряная грива, чёрный смокинг, никакой белизны: аристократ и здесь держал дистанцию с модой.

— Хофман! Идёмте. — Он взял меня под локоть, как Венге когда-то, только хватка была фунтов на двадцать тяжелее. — Тут человек, которому я обязан вас показать.

Человек стоял в центре зала, и центр зала стоял вокруг него. Огромный, в белом смокинге размером с парус, с орденом у горла, с бокалом коньяка в усеянной перстнями руке. Председатель рейхстага. Прихожая — стукнула в голове указка. «Единственный, кто любит людей вашего типа».

— Так это вы поймали пулю руками? — Геринг оглядел меня сверху, как оглядывают лошадь. Потом глянул на фон Вальбека и снова на меня. — Или зубами? — Он усмехнулся. — Расскажите. Только без скромности, скромность — это когда нечего рассказывать.

Я рассказал. Тридцать секунд, две шутки, ноль героизма: повезло, мол, стоял удачно, а кружки в лесу бить сложнее — они меньше и не кричат. Геринг захохотал так, что качнулись подвески на люстре, и хлопнул меня по плечу лапой в перстнях.

— Кружки не кричат! Каково? — Он повернулся к свите, требуя смеха, и смех был выдан немедленно и в полном объёме. — Запомню. Приедете в Берлин, партайгеноссе, — найдите меня. Люди, которым так везёт, мне нужны постоянно, а не только по понедельникам.

Он уже отворачивался — аудиенция была окончена, конвейер двинулся дальше, — но нить была в руках, и я аккуратно намотал её на палец. Берлин. «Найдите меня». Такими словами не бросаются, даже когда шутят. Особенно персоны уровня Геринга.

Дальше вечер понёс меня по зале, как течение. Я был удобен, интересен, смешон и полезен — по прејскуранту церемониймейстера. Жене берлинского гауляйтера — тоже Магде, второй Магде этого вечера, красивой, ледяной, с усталостью на дне глаз — я подал упавшую перчатку и сказал что-то о том, что в Берлине нам всем стоило бы поучиться у её выдержки. Сам гауляйтер, как выяснилось, обещался приехать и не приехал: дела важнее жён, у пропаганды выходных нет. Фройляйн Рифеншталь — лёгкая, загорелая, со стремительными жестами — рассказывала полукругу слушателей про съёмки в горах, про свет, который бывает правильным двадцать минут в сутки, и про то, что толпа — это тоже пейзаж, только его ещё никто не умеет снимать. «Научитесь, — подумал я, — вы-то как раз научитесь». Вслух я спросил что-то про хронику, и она секунду смотрела на меня так, будто я прочитал её мысль.

Стол у Штрайхера был накрыт с той щедростью, которая хочет казаться небрежной: заяц в сметане, свиные медальоны, форель из Пегница, франконское в пузатых бокалах-боксбойтелях. Лакеи двигались бесшумно. Я ел мало, пил меньше, чем делал вид, и слушал: за такими столами информация лежит между блюд, только собирай.

О выборах говорили за коньяком, вполголоса. Два миллиона голосов испарились, и каждый второй смокинг знал, кто виноват: Берлин, Штрассер*, деньги, дождь. Какой-то чин из гау сказал, что теперь-то Шлейхер* предложит переговоры, и не продешевить бы. Штрайхер стукнул стеком по каминной полке и объявил тост — грубый, как подошва: за верность, которая познаётся не в такие вечера, как этот, а в такие утра, как завтра. Пили стоя. Я пил со всеми и думал, что из всех присутствующих план на ближайшие месяцы есть, кажется, только у меня. И у истории.

* * *

Обратно ехали молча. Магда смотрела в окно на чёрную Пегниц, лиса на её плечах пахла духами и сигаретным дымом. Потом, не поворачивая головы, она спросила:

— Пауль. Вы никуда не торопитесь?

— Сейчас? Домой.

— Нет. Вообще. — Она повернулась, и в жёлтом свете встречного фонаря глаза у неё были серьёзные, без вечернего блеска. — Вы человек, который всегда приходит вовремя. Я вам это уже говорила. А сегодня вы весь вечер... не знаю. Опаздывали куда-то. К Герингу — через зал, напрямик. К Рифеншталь — в чужой разговор. Как будто... — она поискала слово, — как будто у вас этот вечер завтра отберут. Куда вы торопитесь?

Внутри у меня всё стало очень тихо и очень холодно — как в цеху, когда выключают станки. Я чуть не подумал «гестапо» — и одёрнул себя: до гестапо этой стране оставалось ещё полгода, я-то знал. Но контора с этим запахом здесь уже была — молодая, партийная, при чёрных мундирах, и вопросы она задавала, говорят, вот так же: мягко, в темноте, после хорошего вечера.

— Тороплюсь, — сказал я легко. — Мне тридцать девять, Магда. Люди моего возраста, начинающие с нуля, торопятся во всём. Просто не все — в красивой машине, после коньяка с Герингом, рядом с самой красивой женщиной вечера. В такие минуты это заметнее.

Она посмотрела на меня ещё секунду — и рассмеялась, и стала прежней.

— Тридцать девять, — сказала она, устраивая голову у меня на плече. — Старик. Так и быть, довезу вас до постели.

Дома она была нежной, как никогда прежде, — а я отвечал ей, и где-то на самом дне меня, под всей этой нежностью, сидел за конторкой холодный счетовод и выводил каллиграфическим почерком: мягче. Медленнее. И не доверять никому. Особенно ей.

Из угла смотрели. Пусть смотрят.

Глава 6. 21 ноября. «Провести неделю в Берлине»

В конверте лежали листок и деньги. На листке значилось: «Провести неделю в Берлине». Деньги были — тысяча марок, десятью хрустящими сотнями, и вот тут я сел на ступеньку прямо в подъезде, чего не делал до того еще ни разу.

Три месяца система работала просто, без расписания, но с железным правилом: конверт приходил, когда им хотелось, — иногда через день, иногда через неделю, — но уж раз пришёл, изволь закончить в ближайшее время. Я изучил её, я к ней приспособился, я в ней, чего греха таить, обжился. И вот правило однодневного срока отменили. Неделя. Целая неделя, Берлин, тысяча марок — жалованье приличного инженера за четыре месяца. В качестве кого? С кем? Одному? Что делать в этом Берлине семь дней — стоять на Унтер-ден-Линден по стойке смирно или маршировать на площадях?

Когда ставки растут в десять раз, это значит одно: партия перешла в ту стадию, где фигуры уже не двигают — ими жертвуют. Я сидел на ступеньке, курил и раскладывал. Берлин. Там рейхстаг. В рейхстаге — председатель. А он сказал: приедете — найдите меня.

Ладно, серые умники. Считайте, что намёк я понял.

Задание я решил обшить легендой, как обшивают доской сырую стену. В обед я зашёл в канцелярию гау и положил перед Магдой две сотни марок. Я их заранее чуть помял.

— Пожертвование, — сказал я. — В кассу. От партайгеноссе Хофмана, с благодарностью за приём.

Магда посмотрела на деньги, потом на меня — тем своим взглядом, которым она умела пересчитать человека до последнего пфеннига.

— Двести марок. — Она заправила бланк в машинку. — Знаете, сколько жертвует средний новый член партии, Пауль? Марку. Одну. Ну, максимум две. И ещё просит расписку покрасивее, чтобы повесить дома. — Каретка звякнула. — О вас завтра будет знать весь гау.

— На это и расчёт. Запоминаться должны дамы, господа должны запоминать... что я щедр.

— Осторожнее с моими же словами, — сказала она, не поднимая глаз, но уголок губ дрогнул. — Я их не раздаю даром.

Квитанция вышла на дивной бумаге с орлом. Вечером мне уже жал руку казначей гау, назавтра — сам Штрайхер, углядевший меня через улицу и перешедший её ради этого, со стеклом под мышкой: «Смельчак, да ещё и не скупердяй! Побольше бы таких, а, Венге?» Рихард, оказавшийся рядом, сиял так, будто двести марок пожертвовал он.

Он-то мне и нужен.

— Рихард, — сказал я ему за кофе, — у меня новость. Объявился дядя. По материнской линии, Отто Тидеман. Ну как — «объявился». Я его живым и не видел никогда. Умер в сентябре. Стряпчий, вот проныра, разыскал меня через консульство: домик в Кёпенике*, под Берлином, и надо ехать разбирать бумаги. Неделя, я думаю, не больше. Скука смертная — наследственные дела, конторы, гербовые марки...

— Кёпеник! — Венге захлопал глазами. — Берлин! Пауль, да что ж вы кислый такой, это же... — Он осёкся, и я увидел, как в нём происходит короткая борьба человека, которому страшно напроситься. Я дал ей завершиться в нужную сторону.

— Один я там с тоски удавлюсь. Поедьте со мной? Мне нужен человек, который знает, как разговаривать с немецкими чиновниками. Я же аргентинец, Рихард, и до сих пор путаю ландрата с ротмистром.

— Я!.. — Венге чуть не задохнулся. — Да я двадцать лет не был в Берлине! Ильза! То есть... я хотел сказать, я спрошу Ильзу. То есть я скажу Ильзе. Да, к чёрту! Пауль, конечно, едем, какие разговоры!

Прикрытие было готово, и оно было счастливо. В ремесле это называется «взять попутчика». Совесть моя поморщилась, но промолчала: она у меня за эти месяцы научилась молчать по-немецки.

* * *

— Верхний эшелон, — говорил церемониймейстер, и в голосе его впервые слышалось что-то вроде уважения к материалу. — Запомните главное отличие. Мелкий функционер боится потерять место. Бонза боится потерять всё — потому что у него, в отличие от функционера, это всё есть. Они пожертвуют чем угодно и кем угодно, чтобы остаться на плаву. Понимаете? Чем угодно. Ваша задача — никогда не оказаться тем, чем жертвуют в первую очередь.

На стол легла знакомая фотография: грузный красавец с крестом у горла.

— Геринг, Герман. Тридцать девять лет. Ваша дверь к цели — эта, другой не будет, — так сказали аналитики, и я с ними согласен. Слушайте и не перебивайте. Лётчик-истребитель, двадцать две победы, последний командир эскадры прославленного Рихтгофена, «Пур ле мерит» — это их высший орден, и он его, заметьте, заслужил честно. Запомните это «честно»: ему важно, чтобы помнили. В двадцать третьем шёл в первой шеренге из Бюргербройкеллер, схватил пулю. Полтора года кололи морфий — тема запретная. Жена Карин, шведка. Умерла год назад — он в трауре до сих пор, и это второй его настоящий угол, но туда без приглашения не входят. Тщеславен, умён — не путайте одно с другим и не недооценивайте второе из-за первого. Любит: мундиры, ордена, автомобили, широкие жесты. И охоту. Охоту — больше всего на свете. Вот сюда вам и стучаться.

— Я охотился, — сказал я. — В пампасах, по легенде. И не по легенде случалось.

— Знаем. Потому дверь и назначена вам, а не кому-то другому.

Он сказал это ровно, буднично — и только в поезде, много позже, меня догнало: «а не кому-то другому». Значит, были, были эти другие. С другими дверями.

* * *

Рекомендательное письмо мне выдал Вальбек — я попросил без затей, в лоб, и он в лоб же выдал: плотный лист, три фразы, подпись с росчерком, как удар шпагой.

— Берлин, — сказал он, промакивая чернила, — это город, где подобное письмо весит больше совести. Не потеряйте там первое и не забудьте про вторую. Геринг любит смелых. Но помните: он любит их, как коллекционер — бабочек.

— Все они в своём роде коллекционеры, — обронил он напоследок, но я тактично промолчал. Лишь пожелал хорошего дня и ещё раз поблагодарил.

* * *

Магда пришла во вторник вечером — без предупреждения, с бутылкой мозельского, и весь вечер была сама не своя. Смеялась чуть невпопад. Дважды поправила мне воротник — без нужды. А когда я стал рассказывать про дядю Тидемана, слушала, глядя не в глаза мне, а куда-то вверх, как читают анкету. Закурила длинную сигарету в мундштуке.

— Целая неделя, — сказала она наконец. — В городе, где ты никого не знаешь. С Венге, который последний раз был там при кайзере. Рисково, не считаешь?

Мы лишь недавно перешли на «ты», до того выдерживая некий «целомудренный» такт в обращениях. Но больше играя.

— Наследство само себя не разберёт. Да и Венге, он всё же больше немец, чем я.

Я попытался улыбнуться.

— Пауль. — Она поставила бокал. — Я печатаю анкеты четвёртый год. Я знаю, как выглядит ложь в графе «цель поездки», у неё всегда очень аккуратный почерк. — Она подняла руку прежде, чем я открыл рот. — Нет. Молчи. Не надо мне ничего объяснять, а то придётся тебе поверить. Я не о том. Я о другом: Берлин — это город, который ест провинциальных героев на завтрак. С теми, кто торопится, там не церемонятся — там таких целые очереди у каждой

двери... — Голос у неё вдруг сел, и она сердито отвернулась к окну. — Чёрт. Я себе обещала этого не говорить.

И тут я понял две вещи разом, и обе были хуже некуда для человека моего ремесла и моего места в этом мире. Первое: она не следила за мной — она боялась за меня. Всё это время придиралась, пересчитывала, задавала свои вопросы в темноте — потому что боялась. Так придиричивы бывают только те, кто полюбил. Второе: у меня внутри, там, где у профессионала положено быть холодному счетоводу, что-то отозвалось ей навстречу — тёплое, живое и абсолютно недопустимое. Счетовод мой встал из-за конторки и молча вышел.

— Магда...

— Всё. — Она уже улыбалась, только глаза не успели. — Езжай, разбирай своего дядю. Наследство. Привези мне что-нибудь глупое из Берлина. Духи не надо — духи там хуже наших.

В дверях она обернулась и поправила мне галстук — на этот раз он и правда съехал набок.

— Возвращайся вовремя, Пауль. Это у тебя хорошо получается. Вовремя.

* * *

Охотничьим байкам меня учили отдельно — я не шучу. Церемониймейстер называл это «жанровая подготовка». А я бы назвал — «нишевая».

— Байка — не отчёт, — внушал он. — Правда байки не в фактах, а в паузах. Смотрите: «выстрелил — упал» — это протокол. А теперь: «я выстрелил... — тут вы смотрите в огонь, секунды три, — а он идёт». Чувствуете? В охотничьей байке зверь всегда на полметра длиннее, выше и на секунду быстрее, чем был на самом деле. Но — только на полметра и только на секунду! Кто прибавляет больше, тот хвостун, а хвостунов у камина не любят. Знать меру.

Мы репетировали ягуара. Ягуар у меня был настоящий, из прошлой жизни, из одной сельвы, о которой не будем, — я только перенёс его в аргентинские декорации. К десятой репетиции серый удовлетворённо кивнул:

— Годится. Паузу после «а гильза-то в стволе» держите на полсекунды дольше. Это ваша лучшая пауза.

* * *

Поезд уходил в среду утром, с третьего пути, и Венге волновался, как гимназист: трижды пересчитал чемоданы, купил на перроне все газеты и Симплициссимус* сверху. Газеты были одна другой громче: старик принял «богемского ефрейтора» в понедельник. Говорили час, чем кончилось — неизвестно. Канцлерство висело в воздухе, как топор.

— Дадут — не дадут? — Венге хлопал газетой по колену. — Я вам так скажу, Пауль: должны дать. Тринадцать лет партия горбом! Но старик упрям, как... — он покосился на дверь купе и понизил голос, — как один фельдмаршал.

В вагоне-ресторане, за свинными отбивными и первой бутылкой, его прорвало на воспоминания, и я узнал, наконец, военную биографию Рихарда Венге. Самокатная рота!* Он был самокатчиком. Ну конечно, — есть же в мире справедливость.

— Пятнадцатый год, Польша! — Он раскраснелся и рубил вилоккой воздух. — Дороги — каша, конница вязнет, автомобили — смех один, а мы на велосипедах — вжик! Донесения, связь, разведка. И вот везу я пакет в штаб полка, ночь, дождь, я делаю крюк вокруг роши — и выкатываю прямо на пост. Наш, немецкий! А пароль-то, Пауль, я знаю вчерашний! И вот стоим: юнец с винтовкой орёт «пароль!», я ору «депеша!», он орёт «стой, стрелять буду!», а я, заметьте, стоять не могу — у меня склон, глина и тормоза, простите, тогдашние. И я на него е-е-еду. Медленно. Неотвратимо. Как судьба! — Венге сделал паузу, и, честное слово, паузу хорошую. У церемониймейстера бы засчитали. — Он потом божился, что страшнее той ночи у него во всей войне не было. Русских он так не боялся, как меня с депешей.

Я хохотал искренне, без ценника. А потом спросил, как он пришёл в партию, и Венге вдруг стал серьёзным.

— А из-за велосипеда, Пауль. Смейтесь, смейтесь. Не как вы, конечно! Двадцать седьмой год, у меня со двора увели машину — новенький Вандерер (люблю их), я на него год откладывал. Полиция? Полиция писала протокол и зевала мне в лицо. А сосед мой, из этих, из коричневых, послушал, покивал — и через три дня приводят мне двух оборотов и велосипед. Целёхонький. И знаете, что сосед сказал? «Порядок, — говорит, — Рихард, начинается с малого». Вот вам и вся моя политграмота. — Он повертел бокал. — Я потом уже понял, что порядок порядку рознь и что кое-что из ихнего малого мне сильно не по душе... Штрайхера почитайте, эту его газетёнку — гадость же, положи руку. Но, Пауль, куда теперь с подводной лодки-то, а? Пятый год стажа. Втянулся. И люди же кругом свои, живые люди. Порядочные...

Он говорил ещё что-то — а я слушал и думал, что вот сидит передо мной вся эта страна в одном твидовом пиджаке: не злодей, не герой, самокатчик с украденным велосипедом, втянувшийся в организацию, которую я приехал обезглавить. И что в моём деле самое поганое — не стрельба. Самое поганое — что искренне прикипаешь к тем, кого положено считать декорацией и средством.

Ночью, в купе, под стук колёс, я поймал себя на небывалом: я засыпал — и никто на меня не смотрел. Ни из угла, ни из багажной сетки, ниоткуда. Впервые за три месяца. Взгляд остался где-то за Лейпцигом, вместе с конвертами, и от этой пустоты за спиной было легко и жутко, как в детстве, когда отпускаешь перила на лестнице.

Значит, они не всюду. Значит, у поводка есть длина.

* * *

Берлин ударил по нам с Венге, как духовой оркестр из-за угла. Анхальтский вокзал — стеклянное небо, пар, эхо; на площади — водоворот: автобусы в два этажа, светящиеся буквы величиной с окно, мальчишки с вечерними выпусками, бары, витрины, дамы в мехах против очереди за супом длиной в квартал — всё вперемешку, всё разом, всё на нервах. После Нюрнберга с его пряничными фасадами Берлин выглядел как ртуть после олова: блестит, дрожит и ядовит до смерти.

Плакаты здесь висели теми же слоями, только драка была свежее: поверх свастика — серп и молот, поверх серпа — три стрелы, и всё это заклеено новым: «Гинденбург принял Гитлера». Утром в четверг мальчишки уже орали другое: «Отказ! Старик сказал — нет!» Венге на ходу купил три газеты, ахал и цокал, а я слушал город: Берлин обсуждал отказ с азартом ипподрома — здесь на власть ставили, как на лошадей, и до финиша, я-то знал, оставалось два месяца, ни больше, ни меньше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.